



Новая классика

Виктор Голков

**Путешествие по
апельсиновой роще**

«Летний сад»

2018

УДК 821
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

Голков В. И.

Путешествие по апельсиновой роще / В. И. Голков — «Летний сад», 2018 — (Новая классика)

ISBN 978-5-00039-266-9

«...Голков – поэт незаурядный, без вычисляемых предтеч. Муза его разумна и временами, урывками, сурова, понимая, что для веселья мир-олам мало оборудован, зато жесток и расшатан – „так осыпается песчаник под башмаками на ходу, и муке музыки изгнанник внимает, как Орфей в аду“. Родившись и сформировавшись в Бессарабии – еврейство без араба – во радость, казалось бы! – в кишачем добрыми крушевано-погромными традициями столичном местечке – и Кишинев не клюнул, а поцеловал его в темечко „киш ин...“ – Голков неуклонно оборачивается и вглядывается в прошлое – „в мое лицо глядят провалами два черных выбитых окна... на месте детства только впадина за этой сломанной стеной...“ Кишинев, город детства и геттства, сродства и инородства – застрял, как гвоздь, как кость в горловине памяти – „вижу как звездой старинной Кишинев встает, мозг из первозданной глины слов не создает“...»

УДК 821
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-00039-266-9

© Голков В. И., 2018
© Летний сад, 2018

Содержание

На горах, или уголь Голкова	6
Жажда	9
Михаилу Зиву	10
«Мы живем в муравьиной общине...»	11
«Белым-бело, как на том свете...»	12
Мысль	13
«Революции голос картавый...»	14
«Я жалкий наблюдал распад...»	15
«Жаркой верой сытно накормили...»	16
«Заопить бы: вы мне не родня...»	17
«Живи пронзительно и строго...»	18
«Кто умер, вышвырнут на свалку...»	19
«Так исчезло мое поколение...»	20
«Подо мной земля зашевелилась...»	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Виктор Голков
Путешествие по апельсиновой роще
© Виктор Голков, 2018

* * *

На горах, или уголь Голкова

Виктор Голков родился в Кишиневе, окончил МЭИ в Москве, в Израиль взошел в 1992 году, обитает в Азуре. Автор двух сыновей и шести книг стихов. Вот и все вешки – «как человеческая речь, рифмованная жизнь струится, в пространстве памяти таится, чтоб смысл на образы рассечь».

Голков – поэт незаурядный, без вычисляемых предтеч. Муза его разумна и временами, урывками, сурова, понимая, что для веселья мир-олам мало оборудован, зато жесток и расшатан – «так осыпается песчаник под башмаками на ходу, и муке музыки изгнанник внимает, как Орфей в аду». Родившись и сформировавшись в Бессарабии – еврейство без араба – во радость, казалось бы! – в кишашем добрыми крушевано-погромными традициями столичном местечке – и Кишинев не клонул, а поцеловал его в темечко «киш ин...» – Голков неуклонно оборачивается и вглядывается в прошлое – «в мое лицо глядят провалами два черных выбитых окна... на месте детства только впадина за этой сломанной стеной...» Кишинев, город детства и геттства, сродства и ино-родства – застрял, как гвоздь, как кость в горловине памяти – «вижу как звездой старинной Кишинев встает, мозг из первозданной глины слов не создает».

Голков – угловат, колок, негладок. Вот уж кто – помянем Павла Когана – отроду не рисовал овал! И стихи его – рисунки углем, причем не бледным и холодным, а тем самым – пылающим огнем. Задача глагола Голкова, как и прочих горячих частей речи, воистину возвышенна – воспламенять сердца и души, жечь сигнальные костры для ангелов. «Обступила времени тряпина, хлюпая, ворочаясь, хрипя, и судьба аккордом клавесина заскользила вдоль самой себя. И в канун какого-то сегодня создаю крылья, как Дедал, чтоб из этой жизни преисподней упорхнуть бы я не опоздал».

В нынешнюю пору постмодернистских кунштштюков и циркового царствия литературных игр, стихи, всерьез несущие благую весть, – редкость. Ведь небо, землю и Интернет опутали бесчисленные пиитические тексты, атрибутированные безвременьем, – приторные веропавловские сны, примитивные эротические опыты в рифму, призванные вызвать щенячье павловское слюноотделение, кассандрийские стоны и хорейное описание конца (этакий апокалипсис от Калипсо) – э, думаешь улиссово-улиточно, не страшно, сударышни, волос долог, на наш век хватит! Заполонили книжные лотки и полки глянцево пузырящиеся ананасы в шампунях, ничтожные рефлексии, коллапс мысли, пустотелый блеск и гель – а тут тебе геллово-азазелловый антрацит, мастерский уголь Голкова, обжиг, духовка. Его книга, как брикет кокса, – концентрат тепла для астрального тела. Откроешь, прочтешь, хватанешь шилом меда – и светлая печаль накатывает коренником, с пристяжными тоской и грустью. «А может быть, лучше где-нибудь, в израильском поселении пулю поймать залетную по дороге домой, услышать во сне тягучее на древнем иврите пение, когда трава пробивается сквозь ржавый песок зимой».

Хочу заметить, что мне не близка его дерзновенная, но хмурая муза. Слишком непросто и несладко читать Голкова. Надо напрягаться, страдать вместе с ним и свято верить в катарсис. Его поэтический бог строг и суров. Я же существо иной плоскости, у меня свой божок – ирония – безобидный истукан, которого я мажу жиром, но не кровью. Мне приятней и легче читать, образно выражаясь, про стеариновый ручей свечей и светлячковые пляски огонька. А Голков упрямо не обходит вниманием нагар и канцероген жизни. Из предложенного небесной канцелярией в разделе «стихи» он с еврейской жестокостью выбирает не сдобную халу, а сухую корку чернухи с чесноком. Эти его строки уже безымянно ходят по лубяно-ледяным просторам Руси, где кипит возмущенный, униженный и оскорбленный, замурзанный разум карамурзовых: «Нас крестила перестройка люто, погружая каждого во тьму, и осколки страшного салюта догоняли всех по одному. И острее запаха помойки, нищеты, что над землей летел,

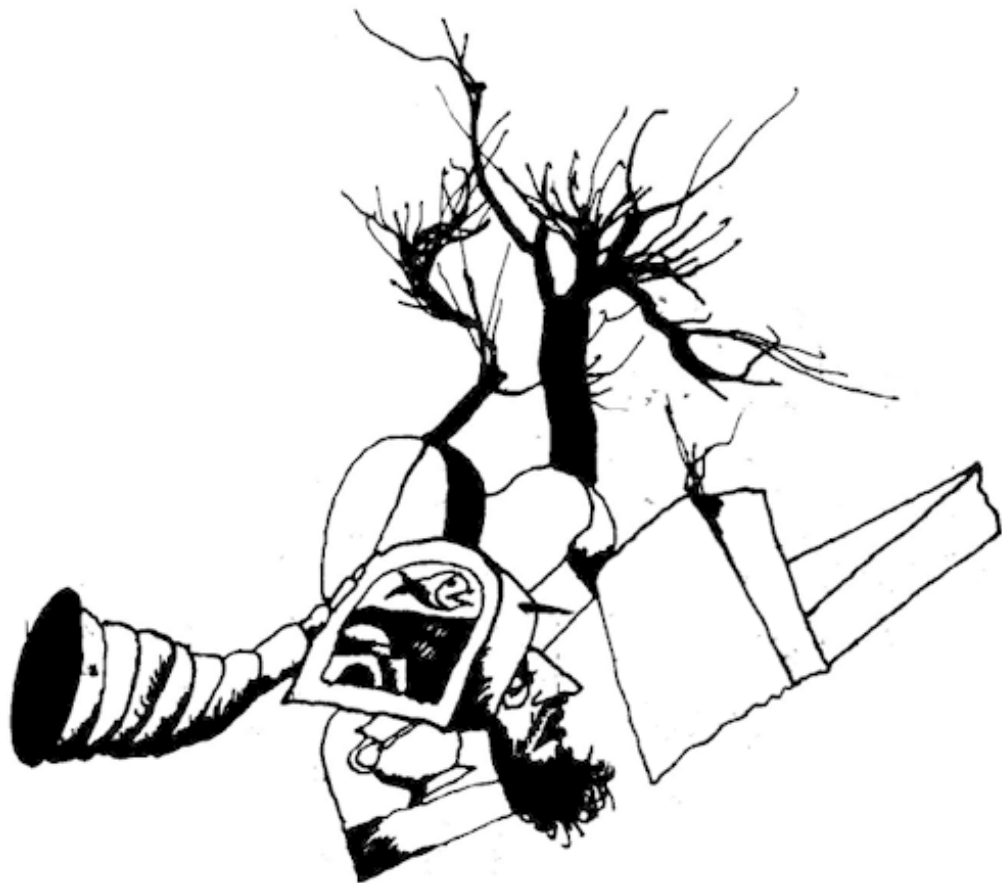
был угрюмый воздух перестройки, сладкий дух непогребенных тел. А свободы едкая отравка все мутит головы как хмель, и лежала мертвая держава, как в прорехах грязная постель».

О творимых весьма нетривиально стихотворных текстах нелегко говорить гладко – в них рван метр и нерв слова, вервие его осенне оголено, ободрана напрочь изоляция, вдобавок ионически объяли звуки до души моей, и прозреваешь, продирая веки, – не будет нам ни света, ни покоя, ухнул в черную яму, пискнув «мяу», праздничный «мир, труд, май», а впереди – дождливый вечный трудодень, мрачно, ма-терно и сумрачно, с редкими огоньками (да и то это газ на болотах) – «мир, трут, огниво». Вздохну повторно – мне, трутню, читать Голкова трудно. Как будто происходит грубоватое, дискомфортное вторжение в мой уютный округлый внутри-мир. Я одомашнен, как книжная закладка, а тут – дикость какая-то, репы, рык. И это – благая весть?! Волхв-оборотень, полуволок-полуапостол слов впивается, льется на нас зеленым зельем зрачка из мать-тмы стихов. Он не позволяет, небрежно листая, расслабиться, высвободиться – обдираешь душу о его углы, грядет неизбывный труд, гон, а в награду – грусть. Таков Голков. Ему чуждо много- и междуречье. Он давно – перешедший Реку. «Я в царство вечности вхожу, Ханаанейскую долину, где внуку и отцу и сыну – на каждого по миражу». Там, на Голковщине, под желтыми звездами, во-лы-символы влачат тяжкую ежедневную повозку стиха – взглядишься, а это быки Гелиоса, и от них исходит ровное свечение. По Голкову, жизнь – вхождение на Голгофу, но за скрижалями. Да – учит он – мир черен, но это чернь серебра. Смешно же жить в Израиле, писать стихи и при этом еще и не шить смежно немножечко пророчеств... Прохладная горная прана, пронзительная пряность сих стихов, горячая проповедь того, что поэзия – не лепка песочных куличков-пряничков, а хватка держать кнутовище, непростывшая духовная жажда, пересохшие, запекшиеся губы – говорить неустанно в пустыне о высшем, о сошествии, о Ханаане небесном, грозя гроздьям грозы незримым узловатым посохом. Мелодекламация с подсветкой молний, гром где-то глубоко внутри... «В разброде чувств, как молния мгновением, в живом кольце, куда, блуждая по слепым вселенным, прийти в конце?»

В стихотворном логове Голкова, в берлоге души – чаще всего осень. Чаши осушены, чащи опали. Взапуски запустение. Мир, вырезанный из хаоса, желт и шестиуголен. «Этот город мной покинут в некий желтый жуткий час... Пахнет осенней травой, желтой сосновой иголкой... Желтые краны с лапами вкось... Видит желтые монеты, три ничтожных пятака... Где горлопанит воронье и мокрые желтеют пятна... Воздух желтый и шербатый... Пыль над городом – желтая маска... «Говорят старожилы, что у Ван-Гога интенсивность желтых тонов объясняется тем, что у пропитанных абсентом существ зрение изменяется, мир желтеет. А у, увы, непьющего Голкова («ты согласишься, я не пью, мину скорбную не строю, просто хочется порою выть у жизни на краю»), вовсе не хлещущего сей полынный напиток, восходит в его стихах горькая желтая Звезда Полынь. Угрюмый мелос Голкова не несет назидания, во всяком случае, открыто, но неизменно заставляет задуматься – скажем, о излете жизни и несветлой ее изнанке, о сумерках и закате, о наползающей на нас волглой мгле. «Когда, одурев от невроза, ты гадок себе самому, великий маэстро Спиноза не даст тебе кануть во тьму». Заноза озноба при лазанье по строчкам, лакмусовые спинные мурашки – значит, поэзия. Симан, иврито говоря, знак голковской семантики и поэтики – первичность смысла, выплеск, выкрик. Его не тянет к большей, скажем так, радужности формовки, к спектральной радости звукописи («созвучий скользкие шелка», как сигиз-мундил Кржижановский) и музыке ради самих нот, дабы росла та самая Фасоль, нет, по Голкову, поэт – поэль, работяга строф, труженик рифмы, взмокший стихопашец. Все черным-черно, как чернозем с червями, и ритмично. Стихи не вихляют, а выпаживают борозду – тезеева стезя, минотавровы мытарства. Колюча крапивная рубашка его стихов, их подорожная лебеда – но с обязательным последующим превращением в лебеда, в свечение. «Если что-то есть во мне, то оно пришло оттуда, где узоры на окне или детская простуда. Где еще живой мой дед, мерно досточку строгают, и косой блестящий свет ночь на

блики разлагает». Хорошие стихи. Хорошо бы научиться греться душой у голковского костра, доникнуть, вслушиваясь глазами. Я стараюсь. Не согреюсь, так догоню.

Михаил Юдсон



Edward Maidenberry

Жажда

Этажами громоздятся здания,
запутал меж них мороз-слепец.
Неизбывной жажде созидания
не настанет никогда конец.

И неужто лишь нужда заставила
ток открыть и вольтову дугу?
И, мигая, вспыхивают правила
золотыми цифрами в мозгу.

И горят, как радуга, понятия,
Вьётся суть узором по стеклу,
И вещей глухонемая братия
Попадает к мысли в кабалу.

Но хотя как будто все расставлено
по местам, как следует, точь-в-точь,
той душе, что знанием отравлена,
вековой тоски не превозмочь.

И болит в преддверии кромешности,
ощущая смертоносный яд.
Ну а вещи под покровом внешности
глухоту беспамятства таят.

Михаилу Зиву

Солнце будет жечь дотла,
так, что некуда деваться.
Господи, твои дела,
страшно с ними расставаться.

Разорвешь палящий круг,
и пойдешь кружиться снова
в танце черно-белых мук
на другом краю живого.

Где ни той, ни этих нет,
тени их теней разбиты.
Только призраки планет
чертят синие орбиты.

«Мы живем в муравьиной общине...»

Мы живем в муравьиной общине,
каждый каждому – брат или сын.
И царит в молчаливой гордыне
надо всеми закон-властелин.

Роем мы подземелья и ходы,
а над нами не светят огни,
и ужасное бремя свободы
безысходности нашей сродни.

Но люблю я ненужное дело,
что вершится столетья подряд,
и несу свое грешное тело,
а огни надо мной – не горят.

«Белым-бело, как на том свете...»

Белым-бело, как на том свете,
и, разорвав молчанья круг,
разносится по всей планете
дрожащих веток перестук.

Я – господин моей тревоги,
я – царь великой нищеты,
и мне кивают вдоль дороги
крест-накрест черные кусты.

А город медленно кренится,
ломая собственный скелет.
А ночью прошлое мне снится,
и жалко вычеркнутых лет.

Мысль

Приходит в сумерки и к мозгу припадает,
и цедит жизнь мою, губами шевеля.
В кромешном хаосе она возобладает,
над всем возвысится, как маковка Кремля.

Куда деваться мне от мысли-кровососки,
с вампирской точностью являющейся в срок,
когда в изысканном своем, бесстрастном лоске,
она, незваная, ступает на порог?

Пушай поет петух, ночной туман рассеяв,
абстрактной истиной окутанную тьму:
от крови праведников, жертв и фарисеев
во веки вечные нет прока никому.

«Революции голос картавый...»

Революции голос картавый
прошептал, что покой – это бред.
И заполз в наши легкие ржавый,
наркотический дым сигарет.

И повсюду охотничьей дичью
мертвецов запестрели тела,
потому что грозит обезличье
и застывшая твердь тяжела.

И сочилась с огарка на скатерть
капля воска – в столетие раз,
и косилась в тоске богоматерь
закопченными пятнами глаз.

«Я жалкий наблюдал распад...»

Я жалкий наблюдал распад
под мрачной сенью гегемона:
как семь десятков лет назад,
ревела древняя колонна.

Беззвучно разевая рот,
гасил огни зрачок-локатор.
Землей облепленный, как крот,
еще один вставал диктатор.

И запах разложения рос,
к ноздрям подкрадывался ближе.
А кто-то целовал взасос
его ботинки в клейкой жиже

«Жаркой верой сытно накормили...»

Жаркой верой сытно накормили,
заковали в кандалы слезу.
А когда хребет переломили,
понял я: теперь не уползу.

И прошлись походкою железной
по останкам тысячи веков,
и в своей надежде бесполезной,
стер я пыль с блестящих башмаков.

Просто пыль коричневого цвета,
но не лжет бродячая молва,
что воспели лучшие поэты
эту грязь с ботинок божества.

Я его боялся, безусловно,
страшный Бог стоял передо мной.
Но счищал порой почти любовно
жертвы кровь и человеческий гной.

И сейчас, когда вопит тупица,
что его, мол, кто-то обманул,
до упора в круглые глазницы
я бы взор свой яростный воткнул.

Чтоб пред этим человеческим стадом,
Что считает жалкие гроши,
распростерлась беспросветным адом
ширь моей пылающей души.

«Завопить бы: вы мне не родня...»

Завопить бы: вы мне не родня,
ваш закон невозможен и дик.
Но не слушает больше меня
в пересохшей гортани язык.

Эта жизнь – ненавистная блажь,
возразишь – налетят и сомнут.
Но послушай: чего не отдашь
за каких-нибудь пару минут?

Чтобы в этот тифозный барак
залетел хоть обрывок цветка,
и светило бессмертье во мрак
желто-белым огнем ночника.

«Живи пронзительно и строго...»

Живи пронзительно и строго,
но в ту же реку не войдешь,
ведь нет намеренья у Бога
качать предательство и ложь.

И в безнадежный час измены,
великий и убогий час,
блестит божественная пена,
скрывая истину от глаз.

Душе не хватит революций:
природа возводила клеть.
И новый никакой Конфуций
не сможет смерть преодолеть.

«Кто умер, вышвырнут на свалку...»

Кто умер, вышвырнут на свалку,
взамен него придет другой.
Но жалко, жалко, жалко, жалко
того, чье прозвище – изгой.

Кто уничтожен мимоходом,
кого решили растоптать,
и чьим бессмысленным исходом
нам ничего не оправдать.

Кому страдания гримаса
и скорби – искривила рот.
Лишь единица, а не раса.
Лишь человек, а не народ.

«Так исчезло мое поколение...»

Елене Шатохиной

Так исчезло мое поколение,
расползлось, как прогнившая ткань.
Словно третье стоит отделение,
наша хмурая Тьмутаракань...

Только ветер в кустах шевелится,
бормоча всякий вздор, как старик,
и секунду какую-то длится
полуночный, разбойничий крик.

И с великой планеты Разлуки,
из утробы ее ледяной,
привидения, тени и звуки,
прилетают для встречи со мной.

«Подо мной земля зашевелилась...»

Подо мной земля зашевелилась,
рыхлая, как хлебный каравай.
Но скулить не стоит: сделай милость,
ты меня, судьба, не убивай.

Ибо век идет в косоворотке,
засучив по локоть рукава.
И течет по узенькой бородке

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.